

Вопросы к докладчику и ответы

Вопрос (А.И. Неклесса):

Спасибо, Вадим Леонидович, за доклад. Фактически мы продолжаем разговор о русской власти, ее своеобразии, пытаясь определить реальные параметры этого своеобразия. У меня к Вам комплексный вопрос, состоящий из двух частей, имея в виду Ваше замечание о периоде расцвета феодализма в России. Европейское понятие суверенитета зиждется, пожалуй, на двух элементах. Во-первых, это юридическая культура, присутствующая в западноевропейском мире как наследнике римской культуры; а во-вторых — этап прохождения через суверенитет феодальных сообществ, суверенитет в условиях донационального государства, суверенитет, который присутствует в вассальной системе. По-моему, говорить о расцвете феодализма в России — именно в силу *этого* обстоятельства — достаточно сложно, потому что разница заключается в том, что в России феодализма удельных княжеств (аналогов европейского феодализма) в отмеченном Вами XVIII в. просто не существовало. И политический строй как России-РФ, так и Российской империи зиждется как раз на отрицании идеи удельности. Поэтому-то понятие суверенитета перманентно срачивается с понятием самодержавия. И когда Вы говорите о федерализме как возможной основе для расшивания прежнего понимания суверенитета, здесь подспудно слышатся обертоны иной Руси, скорее Киевской, юго-западной Руси как Руси феодальной, шляхетской, можно сказать. Вот этот иной путь, находящий себе оранжевую дорожку через идею федерализации и городской культуры, основанной на магдебургском праве. Иначе говоря, меня смутило Ваше обоснование перспектив расцвета феодализма.

Второй вопрос: *насколько* своеобразный характер носят процессы, происходящие в России, процессы явно свое-

образные? Насколько глубоко укоренено это своеобразие? Проявляется ли и здесь — пусть и с выраженными особенностями — все та же идея догоняющего развития, поднимающая под оригинальными именами те вопросы, которые были уже проработаны — просто в другой «культурной упаковке»? И какую роль играет при этом «историческое цунами» наших дней? Нужно ли противостоять этой критической новизне — в том числе в прочтении суверенитета — либо осваивать ее, принимая ее новый язык, подразумевающий иную, ограничительную трактовку суверенитета, связанную с правами человека и меньшинств?

Ответ:

Что касается российского феодализма. В данном случае в обозрении феодализма я ориентируюсь на политический и политологический аппарат Шпенглера. Феодализм — это расцвет самодовлеющего слоя неслуживых крупных земельных собственников. Вот что это такое. Этот слой в Европе, как известно, утвердился в XI–XII вв., когда бывшие служивые люди герцогов и графов трансформировались в слой феодалов-рыцарей. Произошла так называемая феодальная или рыцарская революция, нашедшая выражение в Европе, покрытой кастелями. В России с XVII в. и в течение XVIII в. мы видим фундаментальную трансформацию дворянства из служилых государевых людей в самодовлеющий слой земельных собственников, к концу XVIII в. свободных даже от службы, способных выбирать службу или от нее отказываться. Именно в этом фундаментальная гомология. Если проводить дальнейшую параллель — в область, скажем, становления того, что называется дворянским этосом, этоса благородного сословия, — мы и это в России видим на протяжении XVIII в. В этом смысле можно говорить о действительной типологической аналогии нашего цивилизационного кода XVII–XVIII вв. западному цивилизационному коду XI–XII вв.

Теперь я должен сказать одну очень важную вещь. Почему я в принципе отвлекаюсь от этих глобалистских моментов, о которых Вы говорите? Потому что меня всегда раздражало и пугало стремление рассматривать нынешний мир как абсолютно *уникальный* мир, как мир беспрецедентный, единственный, по отношению к которому людям остается только разводить руками, всплескивать ими и говорить, что мы живем в каком-то невиданном, переходном состоянии, которое ведет неведомо куда, неведомо в каком направлении, неведомо по каким путям. Понимаете, я филолог-классик, я человек, который привык наблюдать, как возникают великие сообщества, как они растут и как они исчезают. И Шпенглер был для меня значим именно потому, что он исходил из стремления рассматривать наш нынешний, существующий мир как *один* из аналогичных миров, отличающийся от своих предшественников только тем, что он, в силу некоторых задатков, умудрился охватить планету. В планетарном масштабе идет процесс, в существенных моментах аналогичный тем процессам, которые переживались подобными же высокими культурами в прошлых веках в масштабах локальных. В этом особенность моего подхода. Поэтому я и впрямь в ряде случаев отвлекаюсь от оригинальных моментов динамики той или иной цивилизации для того, чтобы обратить внимание на последовательность цивилизационного кода. Когда Вы говорите о суверенитете самодержавия, я подчеркиваю, что наше самодержавие не имеет отношения к западному суверенитету, потому что западный суверенитет нового времени:

- а) демонстрирует каждого суверена на фоне сообщества суверенов;
- б) несет память об эпохе распада духовной империи западного христианства и о моменте, когда власть стала существовать помимо идеи общеевропейской сакральной вертикали.

Наше самодержавие, во-первых, не предполагало сообщества самодержцев; оно замыкалось на одну единственную

фигуру. Во-вторых, оно не предполагало распада империи, оно предполагало целостность этой империи — не только политической, но и империи духовной. Наше самодержавие соответствует не эпохе европейского суверенитета, оно соответствует эпохе европейской духовной империи христианства, олицетворенной на Западе фигурами императора и Папы. Это ответ на первый вопрос.

Второй вопрос — по поводу расшивания суверенитета. Я вовсе не говорю о расшивании. Я говорю о том, что мы в известном смысле продолжаем западное политическое — не юридическое, а практическое политическое понимание и видение суверенитета, но мы используем его во внутренних наших делах именно в специфических условиях разрушения нашей духовной империи. Это пока для нас единственный наш собственный, нами вырабатываемый, осмысляемый суверенитет. Суверенитет наших областей, республик, суверенитет наших территорий. Он у нас играет такую же роль в судьбе нашей цивилизации, как в Европе XVI–XVII вв. идея суверенитета поднимавшихся там национальных абсолютистских государств. Поэтому у нас это не просто переосмысление западной идеи — у нас это именно цивилизационное открытие.

Вопрос (С.С. Сулакишин):

Вадим Леонидович, мы с Вами мало знакомы, но у меня есть такая традиция или потребность что ли — несмотря на то, что А.И. Неклесса уже отграничил социальные науки от естественных — все-таки подтягивать разговорный жанр к тем научным канонам, которым я, во всяком случае, обучен в своей физико-математической части биографии.

Поэтому первый вопрос — традиционный, не удивляйтесь ему. В чем была задача Вашего исследования, о котором Вы рассказали? Второй вопрос такой: категория суверенитета. Есть ли, вообще говоря, самостоятельная тема? Настолько ли самозначим, идентифицирован вопрос о суверенитете,

либо это всего лишь одна из характеристик власти как таковой, ее имманентных свойств, ее качество? «Власть по факту», «внешнее признание власти» — с этими двумя вашими тезисами, может, можно вообще обойтись без слова «суверенитет»? Хочется понять: есть ли здесь глубокое категориальное содержание, достойное самостоятельного научного концентрирования и соответствующее обозначенным результатам? И третье, Вы коснулись — я Вам очень благодарен за это — сурковского незабвенного высказывания о суверенных демократиях. Какой смысл соединять эти слова? Суверенная демократия, несуверенная демократия, суверенная недемократия, суверенная автократия, суверенные тоталитарные режимы и т. п.? Не является ли это, извините, болтовней высокоположенного чиновника, вокруг которой тут же завибрировали соответствующие круги, любящие вибрировать в таких ситуациях; а все это, на самом деле, всего лишь парافраз довольно пренебрежительного структуралистского высказывания Чейни, сделанного не так давно в Прибалтике. Ему надо было как-то обозначить постсоветские государства, восточноевропейские государства, для которых, естественно, совершенно необходимым и *неотъемлемым* признаком он считал демократичность: вот, вроде, они суверенными государствами стали. Но не просто, а суверенными демократиями. И вот бессодержательная болтовня возводится в ранг чуть ли не больших парадигм государственного строительства. Может быть, я неправ — тогда опровергните меня.

Ответ:

Во-первых, нужно ли специально говорить о суверенитете? Существует ли здесь какая-то проблема? Сотни западных книг и тысячи статей, посвященных проблематике суверенитета с XVII в. и до наших дней, говорят о том, что для западной мысли это, *несомненно*, проблема. В рамках западной политологии суверенитет — это *большая* проблема, это проблема судьбоносная для всей западной цивилизации,

почкующаяся массой подсюжетов. Что в конечном счете? Соотношение суверенитета с федерализмом. Проблема суверенитета ограниченного, урезанного. Может ли суверенитет быть частичным? Может ли он быть делегированным? Это гигантская проблема, о которой дискутируют, спорят и говорят. Это уже не нами заведено. В той мере, в какой мы занимаемся суверенитетом, мы включаемся в диалог цивилизаций, включаемся в большую западную тему. Это первое. Моя работа — проблематика суверенитета — велась в два этапа. Первый этап — это начало 1990-х гг., когда надо было понять, что творится у нас, в нашей стране. Надо было понять, как из западного суверенитета идейно возникло то, что происходило в это время у нас? Нужно было найти такое определение, такое осмысление суверенитета, которое пролило бы свет на наши процессы. Я смог, на мой взгляд, найти это объяснение, выдвинув идею суверенитета в виде этой самой формулы «факт и признание», где «и» — это стрелка, которая может быть направлена и туда, и сюда. Идея власти как политической собственности и делала возможным выстраивание типологий разных суверенитетов: суверенитета факта, суверенитета признания. Стала возможной разработка идеи различных геополитических, как я их называю, структур признания или структур согласия, внутри которых определяются различные ранги и различные уровни суверенитетов. Стало возможным решить проблему федерализма, взглянув на федерацию, как на такую структуру признания, внутри которой утверждаются определенные ранги суверенитета, ранги суверенности. Эта работа дала очень многое в начале 1990-х гг. Что же касается нынешнего этапа моей работы, то после того, как я с 1997–1998 гг. я стал разрабатывать вопрос о приложимости схемы шпенглеровского цикла к России (что сам Шпенглер отрицал наотрез), помимо прочих вскрываемых гомологий, меня поразило, что открытие суверенитета у нас стадияльно вписалось в тот самый момент нашего цивилизационного кода, который оказался сов-

ременным западному коду XVI–XVII вв.! Это время городской революции; это попытка сменить старую, сакральную вертикаль на новую; это успех большевиков в том, что не успели европейские протестанты; это последующая контрреволюционная поднимающаяся волна в наше время, так называемое «второе крещение Руси». И в это время суверенитет входит в жизнь нашего общества, становясь его важнейшей духовной доминантой, политической доминантой. Это второй этап моей работы. Сегодня я попытался представить оба эти этапа вместе.

Насчет В. Суркова. Понимаете, вопрос ведь не в том, что ушлому чиновнику захотелось поболтать. Вопрос в том, почему ему захотелось поболтать в этот момент и в этой ситуации? Захотелось поболтать в этот момент и в этой ситуации, потому что сама ситуация махнула, что называется, оранжевым пламенем в лицо нашего Правительства. Возникла мысль о том, что Правительство может быть смещено группой людей, которые будут внешним миром конъюнктурно признаны за народ. Проблема выбора между суверенитетом факта и суверенитетом признания встала перед нашей властью. Ведь на протяжении всех 1990-х гг. мы во многом жили и держались суверенитетом внешнего признания. Теперь стало ясно, что это небезопасно для существования самой кремлевской власти, что пора переходить на суверенитет факта.

Что же касается демократии. В. Суркова неоднократно спрашивали: чем же его модель суверенной демократии отличается от европейской? Он отвечал, что фактически ничем. Означает это только одно: спор о суверенной демократии — это вообще не спор о демократии, это спор о суверенитете, о типе суверенитета. Если Вы сравните эти два контекста — Чейни и Суркова, (в моем докладе специально эти контексты сопоставляются), то увидите: Чейни выражает *надежду*, что Россия приобщится к сообществу суверенных демократий, которые соблюдают такие-то и та-

кие-то правила. Соблюдай, Россия, правила, а мы посмотрим, признать ли тебя. На это Сурков отвечает: «Мы с вами согласны. Мы то же самое понимаем под суверенной демократией, у нас она уже есть. Иными словами, вопрос не в том, признаете ли вы нас или не признаете, мы есть суверенная демократия по факту. И вам надо признать нас как факт нынешнего мира». Вот о чем речь идет. Вот о чем спор, а не о той или иной модели демократии. В конечном счете — о том, суверенитет факта или суверенитет признания лежит в основе функционирования сегодняшней российской центральной власти?

А.И. Неклесса:

Не могу не вспомнить фразу Сергея Маркова, прозвучавшую на одном из заседаний в ответ на вопрос о специфике суверенной демократии: «суверенная демократия — это все-таки демократия».

Вопрос (А.И. Соловьев):

Если не брать во внимание такие устоявшиеся традиции применения этого термина, существуют ли какие-нибудь понятийно-смысловые ограничения на его использование применительно к актам разного уровня? Вот Вы говорили, «суверенитет колхоза, области, деревни» и т. д. Какие-то понятийно-смысловые ограничения есть?

Ответ:

Фраза насчет суверенитета колхоза или трудового коллектива мелькнула один-единственный раз в выступлении Ельцина в Верховном Совете. Суверенитет — это власть, политическая власть, понимаемая сообществом правителей как чья-то неотъемлемая *собственность*. Вот что такое «суверенитет». Суверенитет реализуется в сфере политической власти. Когда же Ельцин весной 1990 г. стал кричать о суверенитете колхозов и совхозов, это имело конкретный

смысл. Это было стремление *размыть* признанную союзным Центром якобы неотъемлемую собственность власти автономных республик, размазать ее во множестве других видов собственности, растворить ее. На что Горбачев заметил, что это уже полный абсурд, Ельцин подрывает российский суверенитет. Ельцин понял и отступил.

А.И. Соловьев:

Значит, ограничений нет. Любой актер, использующий власть для регулирования своих отношений, может быть носителем суверенитета...

В.Л. Цымбурский:

Не любой, а понимаемый как собственник власти. Я думаю, что в тех случаях, где подходит ситуация под формулу «Х осуществляет власть над А, и У, осуществляющий власть над В, признает власть Х-А неотъемлемым правом» — во всех таких условиях действительно реализуется сила суверенитета. Более того, я думаю, что с распространением этой формулы на различные корпорации, мафиозные объединения и т. д., поскольку они будут руководствоваться этим принципом взаимопризнания, где каждый держал бы свою вотчину, «это твой кусок, а это мой», — в этих условиях формула суверенитета, несомненно, будет работать.

А.И. Неклесса:

Здесь заметен еще один компонент, и А.И. Соловьев, мне кажется, на нем пытался акцентировать внимание. Это все-таки не просто власть, а некоторая сфера ее эксклюзивности. Потому, когда мы говорим о сфере применения, это есть описательный элемент особого, что содержится в явлении. Если же это просто сфера власти, то зачем вообще этот термин — «суверенитет»? Он обозначает некую особенность, которая есть эксклюзивность на некоем пространстве.

Вопрос (Ю.А. Красин):

Мой вопрос тоже касается понятийного аппарата — понятия политической собственности. Я хотел бы, чтобы автор пояснил, что, собственно, это понятие переносит из экономической сферы в политическую? Что это дает? И без него мы прекрасно знали, что всякая консолидирующаяся группа в обществе — будь это класс или социальные группы, партия — они всегда стремятся завоевать власть, какие-то властные позиции. Это ясно и без политической собственности. Не внесет ли это некоторую путаницу, потому что экономическое понятие собственности имеет много специфических черт в области политики — особенно если понимать под собственностью собственность в духе локковской традиции как богатство деятельных способностей человека. Так вот, если это перенести в сферу политики, то здесь, как мне кажется, очень много затруднений возникнет.

Ответ:

Я не настаиваю на слишком детальном развитии аналогий между экономической и политической сферами. Для меня важно подчеркнуть только то, что в основе идеи суверенитета на Западе лежит представление о власти как неотъемлемом достоянии некоего субъекта. Представление, идущее еще из феодальной эпохи, когда власть мыслилась как достояние того или иного феодального владельца, будучи фактически неотделимой от его экономических прав на те или иные территории, на получение с них экономической ренты. Я думаю, понятие собственности здесь очень важно вот почему. Дело в том, что с определенного момента в истории Европы намечается отделение суверенитета, как политической собственности, от полномочий правительства. На самом деле, наиболее четкий тип суверенитета — это монархический суверенитет, где собственность и пользование слиты воедино. Монарх — он собственник власти, и

он ее осуществляет. С определенного момента, с выделения идеи государственного, государственно-национального, затем — народного суверенитета происходит *фундаментальное разделение* собственника власти и ее пользователя. Правительство начинает выступать как пользователь власти, а не как ее собственник. И вся идея народного суверенитета состоит в том, что собственник может взять и отозвать власть у пользователя, объявив его дискредитированным, неполноценным и недееспособным. Это фундаментальная, на самом деле, идея. Я должен сказать, что это именно тот момент, на котором наколосся Карл Шмитт с его пониманием суверенитета, когда он объявил сувереном любое лицо, принимающее решения высшего уровня. Почему он наколосся? Да потому что в XX в. *так* не говорят. Лица, принимающие решения самого высокого ранга, реализуют не свой суверенитет. Вот пример из моего доклада. Когда президент Бенеш с фюрером Гитлером спорили за власть над Судетами, речь шла не о суверенитете Бенеша и не о суверенитете Гитлера. В этом смысле последователи Шмитта у нас — скажем, Александр Филиппов — совершают, вообще говоря, чудовищную ошибку, когда рассматривают президентов, фюреров, премьер-министров и т. д. XX в. в качестве суверенов. Это приводит, в конце концов, к полной ерунде, потому что они пытаются совместить эту шмиттовскую терминологию с новейшим пониманием суверенитета, и у них получается, что сувереном выступает тот, кто не имеет суверенитета. Тот же Филиппов совершенно спокойно пишет о Путине как о суверене, но не будет говорить о суверенитете Путина. Он сам понимает и избегает этого выражения — суверенитет того или иного нынешнего правителя. На самом деле понимание суверенитета как политической собственности очень важно для того, чтобы осмыслить эволюцию модусов суверенитетов в новейшее время, различение собственности политической и пользования ею. Это, на мой взгляд, принципиально важно. Очень многие площадки для политической

игры в последние 200 лет конструируются именно на этом различии. Это надо понимать.

А.И. Неклесса:

У меня, если позволите, есть ремарка. Вы и перед докладом, и в начале его упомянули, что Вам непонятно объективирование постсовременного статуса как статуса новизны, поскольку Вы не видите в нем принципиальных подвижек по отношению к статусу современности. Однако в своих ответах Вы вводите, тем не менее, целый, я бы сказал, категориальный комплекс, свидетельствующий, что изменения происходят и в сфере эмпирики, и в системных процессах, т. е. по самой сути исторической ситуации. Вы, к примеру, обращаетесь к тому же юридическому аппарату, который подвергается модификации, понимая что нынешняя эпоха — это не та эпоха, примерами которой Вы пользуетесь. Но если речь идет о «юридической революции», то этот аппарат — в отличие от политического и экономического — в значительно большей мере базируется на мировоззренческой платформе. А если речь идет об элементах мировоззренческой революции, то, соответственно, и о весьма новом статусе социума.

Вопрос (А.Л. Андреев):

Я думаю, что любую гомологию, а сегодня речь шла о гомологии, нужно как-то развернуть в интересах прогностики. Это полезно, потому что мы видим: понятие суверенитета сложилось в западной цивилизации раньше. Мы как бы ее повторили, но по другим причинам, это понятно. Тем не менее, если попытаться эту гомологию продлить в будущее, если она существует и если она, предположим, будет сохраняться, то во что могут вылиться, если так рассуждать по аналогии, те процессы, которые у нас сегодня происходят? Мы знаем, что происходило на западе после XII в., у нас это началось позже. С Вашей точки зрения, какова логика дальнейшего развития этой идеи суверенитета у нас?

Ответ:

Для этого нужно принять во внимание целый ряд факторов — в частности, геополитическую ситуацию сегодняшней России. Недавно Глеб Павловский в одной из своих статей изумленно заметил: как Россия умудрилась не ввязаться за 17 лет в войну серьезнее и опаснее Чеченской? На самом деле, окружающий мир создан так, что, во-первых, нас пугает рах амерісана, потому что в данных условиях на нас не нападут ни Китай, ни другие более крупные соседи. Нас пугает огромная полоса лимитрофов, окружающая нас от Прибалтики до китайской границы, которая предотвращает большое наступление на нас со стороны мирового центра. Ну, и остаточно нас пугают, конечно, остатки ядерного оружия. Все это создает ситуацию, когда Россия фактически устраняется от участия в мировых конструкциях, когда она благополучно сваливает обустройство мира и его большие игры на другие силы, а сама, засевши за лимитрофами, взирает на происходящее в мире вокруг нее. Это создает серьезные опасности. Прежде всего, это опасность формирования сугубо паразитарной элиты, с которой просто нечего спрашивать, поскольку непонятно, что с нее спрашивать в условиях такой гипертрофированной безопасности. Наши элиты исторически привыкли реагировать на внешние вызовы, на внешние угрозы. Они совершенно не привыкли смотреть на внутренние процессы и на внутренние вызовы. Но в этом есть и определенный благоприятный момент, который я подчеркиваю, начиная с 1993 г., с моей первой большой статьи «Остров Россия». Я подчеркиваю, что именно сегодняшняя ситуация создает возможность трансформации России в такое, не то что федеративное государство, а я бы сказал, — в род уже не духовной, а в род геокультурной империи. Возможность широчайшего развития местных суверенитетов, не взрывающего целостности России и не ликвидирующего ее как целое. Любопытный момент: посмотрите, какая у нас уди-

вительная хронополитическая рокировка по сравнению с Европой. На Западе ведь так называемая духовная империя средних веков — это была огромная сверхфедерация, внутри которой шли непрерывные переделы, происходило перераспределение собственности. И, напротив, у нас: духовная империя воплотилась в идею и практику абсолютистского государства. На Западе крах духовной империи выливается в унитарно-абсолютистское видение суверенитета, у нас закат духовной империи, воплощавшийся в абсолютистских формах, выражается в подъеме федерализма. Это чрезвычайно интересный момент, от которого много чего интересного можно ожидать для нашей культуры, в частности, для нашей политики. Но тут возникает один вопрос — может быть, самый главный, потому что, в конце концов, эта благодать будет не вечно, рах Americana где-то кончится. Силы, которые захотят вести активную, агрессивную политику на лимитрофах, неизбежно найдутся. Как тогда Россия сможет ответить на эту ситуацию? Сможет ли эта федерализованная Россия ответить на эти внешние вызовы? Я не знаю. Во всяком случае, мы можем проследить в будущем этот момент, когда эта проблематика перед нами встанет. Я знаю, что история дала нашим правителям удивительную возможность — еще несколько десятилетий отсидеться, не включаясь в мировые игры. Но когда-то эта благодать закончится. И вот тут начнут происходить самые интересные вещи. Я думаю, это случится во второй половине нашего века.

А.И. Неклесса:

Обыденный мир весьма ценит состояние «мира и безопасности», поэтому столь естественно для него желание «отсидеться». Но это субъективная иллюзия. То же и с утопией наступающего федерализма. Мне кажется, что в условиях реальной России слово должно быть принципиально иное, гораздо более адекватное современному статусу России —

скажем, «корпорации-государства» или «клановость». Речь идет о том, что это все же не федерализм. В сущности, мы возвращаемся к теме утраченной, изъятой в Великороссии из исторического оборота культуры удельности, причем достаточно давно, еще со времен Иоанна Грозного, хотя уже и тогда оно носило «остаточный характер». А «остров Россия» в этих условиях скорее «обитаемый остров Россия». Говоря «обитаемый остров», я отталкиваюсь от одного из ряда прозрений Стругацких, т. е. олигархическое, клановое государственное устройство, которое скорее находится в состоянии социального разложения, нежели в стадии социального строительства. Поэтому ответ на квазигорчаковскую позицию о возможности сосредоточиться — а в данном случае федерализоваться — в реальном мире работает, скорее, прямо противоположным образом. Поскольку в период социального разложения более вероятна дальнейшая олигархизация, вплоть до распада социальной ткани. На днях опубликованы результаты опроса Левада Центра о позиции социально активной прослойки населения в России, реального среднего класса, это люди в возрасте 25–39 лет, с высоким доходом, городское население (к вопросу о городской революции). И их интересы: более 70% сомневаются в стабильности России, и половина предполагает для себя эмиграцию из страны. Но ведь это и есть деятельное городское сословие. Что получается? В настоящее время Россия работает как сепаратор, где, параллельно с элементами городской революции в мегаполисах, происходит неоархаизация. А мобильные слои осваивают пространства Русского мира, который становится самостоятельной реальностью. В этих условиях, скажем, Украина может отчасти манифестировать себя как европейская Русь, как параллельное русское пространство; возможны трансформации в Белоруссии, а также определенные тенденции, проявляющиеся в балтийской русскоязычной диаспоре и Калининградской области.

В.Л. Цымбурский:

«Отсидеться» — это не мой лозунг, это неявный лозунг существующей власти. Я его просто понимаю как некоторую данность и указываю как на опасности, так и на некоторые возможности для общества, которые связаны с подобным лозунгом, существующим в истории. Что касается Вашего тезиса об олигархизации общества, здесь опять та проблема, о которой я говорил в своем докладе. Вновь происходит та самая шпенглеровская игра в новых условиях, когда в условиях городской революции начинает утверждаться *надсословное* государство, неизбежно оказываются задействованы силы, достаточно сложно пересекающиеся. Во-первых, это более широкий городской слой, которому это государство, в общем, импонирует и который видит в этом государстве своего покровителя. С другой стороны, это слой, который Шпенглер определял как «фронду». Это слой, который пытается перехватить поднимающееся *надсословное* государство и превратить его в институт чисто сословного властвования. Я исхожу из того, что подобная игра у нас происходит. И последний признак этой замечательной игры — по времени для меня — конечно, 2003 г., когда, с одной стороны, «фронта» выдвинула своего «золотого мальчика» Ходорковского, а с другой стороны, по городам были развешаны плакаты «За Родину, за Глазьева». Я считаю, что наш городской политический класс в этом смысле еще не сказал последнего слова. Здесь будут идти интересные процессы, я не думаю, что все варианты уже закрыты.

Вопрос (В.Э. Багдасарян):

Так парадоксально прозвучала параллель, проведенная между феноменами реформации и большевизмом. Казалось бы, реформация породила другой тип человека — индивидуалиста, кальвинистского типа человека совсем другой аксиологии. Большевизм — ставка на какие-то коллективистские формы. Во-первых, хотелось бы уточнить параметры этого

сравнения. И, во-вторых, вытекающий из этого вопрос: развитие феномена суверенитета связывается, по предложенной шпенглеровской схеме, с городской культурой. Аграрная культура, городская культура... Сейчас говорят о феномене деурбанизации, стирании различий между городом и деревней. Так что же, значит деактуализируется феномен суверенитета по этой логике?

Ответ:

Насчет оснований для сравнения. Надо сказать, что сравнение большевизма и реформации на Западе проводилось очень широко. Большевизм рассматривается в западных работах как попытка сделать то, что в России не сделала реформация, т. е. обеспечить здесь капиталистическое развитие, пусть в государственно-капиталистических формах. Для меня это не вполне приемлемо, потому что эта модель работает на концепцию догоняющего, сугубо экзогенного развития. Но я подчеркиваю, что само это сопоставление очень широко принято на Западе. У меня статья была в книге «Остров Россия», называлась «Городская революция и будущее идеологий в России». Она как раз касается этих западных работ. Если говорить о шпенглеровской гомологии, то ведь по Шпенглеру, переход от аграрной эпохи к городской — это универсалия движения высоких культур. В данном случае речь идет о параллели не только с европейской реформацией. Для Шпенглера, например, становление ислама как религии цветущих городов, безжалостно эксплуатирующих деревню, — такой же реформационный ход в цикле арабо-византийской высокой культуры. То есть ислам VIII–IX вв. — это *реформационная* религия. Обратите внимание, что он вызвал к жизни тип человека совершенно другой, чем тот, что породила европейская реформация, и чем тот, который сотворил наш большевизм. Но я считаю, что большевизм — да, решал задачу, аналогичную той, что решала реформация, — воздвигал над Россией новую сакральную вертикаль, отвечающую

предпочтениям городского человека, формирующегося городского общества, утверждал лидирующие позиции городского населения (сперва — продвинутой части городского плебса) в жизнь нации.

Что же касается размывания границ между городом и деревней — где, у нас или на Западе? О чем идет речь? Если речь идет о мировых процессах — в данном случае это не моя тема и не моя проблема. Хотя я думаю, что, в частности, какое-то отношение к мутациям суверенитета на Западе в нынешнее время это может иметь отношение. Но этими мутациями я просто не занимаюсь. Что касается России, то у нас я этого размывания в данном случае не вижу. У нас меня интересует другое — наложения эндогенного ритма, связанного со становлением у нас городского национального общества, и ритма экзогенного — со встраиванием России в мир Запада, с формированием у нас мегаполисов-порталов, высасывающих ресурсы страны. Для меня сейчас важнее оппозиция полис/космополис, чем оппозиция город/деревня, потому что наша деревня потеряла политическую роль. Наш город, как выражение нынешней цивилизационной стадии России, и вклинившиеся в страну космополисы-порталы, как выражители ритма не российского, а евроатлантического. Вот эта проблема для меня действительно интересна.

А.И. Неклесса:

Опять же отмечу некоторую «дивергенцию» заявленной Вами вначале позиции, причина чему, как мне представляется, невозможность рассматривать проблему суверенитета вне учета актуальных политических процессов, поскольку мы имеем дело с целостной исторической ситуацией.

В.Л. Цымбурский:

Ничуть. Вся моя деятельность — с начала 1990-х гг. и по настоящее время — была протестом против стремления рассматривать Россию просто как часть этого всемирного со-

общества, живущего в вызовоответном ритме. Я всегда подчеркивал, что все вызовоответные моменты нашей истории с XVIII в. накладываются на наш собственный эндогенный ритм, осложняя, искажая, деформируя его и придавая ему достаточно специфический характер. Я думаю, это же относится и к другим цивилизациям, не выпавшим из шпенглеровского ритма, — например к Японии. Я делаю упор на том, что у нас почти не видят, чего стараются не видеть.

Вопрос (Л.И. Никовская):

Мне хотелось бы уточнить вот что: Вы сказали, что категориальная ценность феномена суверенитета состоит в том, что Вы понимаете под ним единство факта собственности политической власти и его признания. Помогите мне разобраться — мне как социологу, который очень заинтересован в проблемах социологии изменения, социологии транзита политического, исторического процесса. По-моему, в истории — где-то на границе окончания феодализма и нового времени — была такая формула, что если народ не доволен держателем власти, т. е. монархом, узурпировавшим власть, и эта власть не отвечает интересам народа, то он имеет право свергнуть этого правителя, монарха, т. е. он имеет право на революцию. Теперь я хочу переместиться сюда. Меня в Вашей формуле единства факта власти и его признания интересует, что сегодня действительно эта формула признания факта собственной власти с учетом новых возможностей информационной эпохи и глобализации, особенно с точки зрения внутреннего суверенитета, в силу специфики характера русской системы власти, в контексте этих сложных, внутренних, амбивалентных процессов вот эта вторая составляющая в Вашей формуле, признание, она всегда будет блокироваться. В силу чего? Да в силу того, что современные возможности коммуникативистики будут использованы этими держателями власти как манипулятивного характера коммуникативистика, недопуск к ресурсам коммуникации и т. д. Это то,

о чем говорил А.И. Неклесса, когда подрастающее среднее сословие, средний класс будет перемещаться в соседний гомологический ряд, предпочитая хлопотное дело, связанное с изменением власти, с передачей власти от одного собственника другому перемещению в более комфортное дело другой среды, гомологически отвечающей его развитию. Получается, что Ваша формула, если говорить о прогностике, она не будет срабатывать, она будет каждый раз раздувать флюс факта собственности власти, доводя до безобразия механизмы ее удержания и максимально блокируя вторую составляющую легитимности этой власти, признания этой власти. Россия, недаром сейчас А.И. Неклесса сослался на данные Левада Центра, на данные нашего института, по числу нарастания внутреннего социального недовольства и напряжения она зашкалила. И сегодня по многим показателям зашкаливает. Тем не менее, саккумулировать и вывести ее на подрыв факта собственников, которые держат политическую власть, у нас никогда не получится.

А.И. Неклесса:

У меня совсем короткая ремарка. Изменяется сама структура недовольства. Речь в прошлом шла о перспективах «седой революции», недовольстве низов, а недовольство копится в ключевых группах городского мобильного и деятельного сословия.

Л.И. Никовская:

Вот тут переплетается внутренний суверенитет с внешним.

В.Л. Цымбурский:

Здесь много всего вошло в Ваше высказывание. Право на революцию в XVI в. Это был лозунг людей, стремившихся повернуть назад, к Средневековью. Это лозунг так называемых монархомахов — тех, которые отстаивали высшую Пап-

скую власть над Европой и рассматривали поднимающихся монархов-суверенов как тиранов, узурпирующих власть, не легитимизированную Высшим Священным престолом, не осененную сакральной вертикалью. Это была крайне реакционная установка, которая реализовалась в таких случаях, как убийства Генриха III и Генриха IV, как покушения на Елизавету. Это было очень интересное явление. Но тогда, что называется, плевали против ветра истории. Конечно, через какое-то время, в XVIII в., когда начала развиваться идея народного суверенитета, люди вспоминали, в частности, и монархوماхов, но это была уже совсем иная ситуация, другие условия.

Что касается признания. Мне кажется, Вы смешиваете следующие вещи: для меня момент «признания» в формуле суверенитета — это вовсе не признание со стороны подвластных. Решительно нет! Признание от подвластных — это часть факта власти как такового, суверенитет же соединяет с фактом власти нечто иное — внеположенное признание со стороны мира, не охваченного этой властью.

Теперь что касается протеста, который возникает в городском слое. Для меня главное в том, по какой линии пойдет этот протест. Я знаю, что все не сбегут: кто-то останется в России, кто-то сохранит связи с теми, которые сбежали. Решаться, в конечном счете, все это будет здесь. Так вот, для меня интересно, по какой линии пойдет протест — по линии торжества «фронды», того что я называю «коллективным Ходорковским»; по линии отождествления с «народом» 1–2% населения или же по линии осмысления городским политическим классом себя в качестве единственно реального «народа», собственника народного суверенитета. Достаточно широкого слоя, чтобы он мог претендовать на функции, аналогичные тем, которые присвоил, скажем, греческий демос и которые были у европейского третьего сословия. Вот это для меня — самый интересный вопрос.

